Н. А. БЕРДЯЕВ

Откровение о человеке в творчестве Достоевского

«Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людям, а потому поступил как бы и не любя их вовсе».

«Легенда о Великом инквизиторе»

I

Много уже написано о Достоевском и много высказано о нем истин, которые успели сделаться почти банальными. Я имею в виду не старую русскую критику, типическим образцом которой может служить статья Н. К. Михайловского «Жестокий талант». Для публицистической критики этого типа Достоевский был совершенно недоступен, у нее не было ключа к раскрытию тайн его творчества. Но о Достоевском писали люди другого духовного склада, более ему родственного, другого поколения, всматривавшегося в духовные дали: Вл. Соловьев, Розанов, Мережковский, Волынский, Л. Шестов, Булгаков, Волжский [1], Вяч. Иванов. Все эти писатели по-своему пытались подойти к Достоевскому и раскрыть в нем глубину. В творчестве его видели величайшие откровения, борьбу Христа и антихриста, божественных и демонских начал, раскрытие мистической природы русского народа, своеобразного русского православия и русского смирения. Мыслители религиозного направления существенное содержание всего творчества Достоевского видели в особенных откровениях о Христе, о бессмертии и о богоносности русского народа и особенное значение придавали его идеологии.

Достоевский прежде всего психолог, раскрывавший подпольную психологию. Все это было у Достоевского. Он был необычайно богат, от него идет много линий, и каждый может пользоваться им для своих целей. К загадке Достоевского можно подходить с разных сторон. И я хочу подойти к этой загадке с той стороны, с которой недостаточно подходили к ней. Не думаю, чтобы то религиозное истолкование Достоевского, которое сделалось у нас господствующим, улавливало самое главное в нем, ту центральную тему его, с которой связан его пафос. Нельзя на ограниченном пространстве статьи охватить

всего Достоевского, но можно наметить одну его тему, которая представляется мне центральной и из которой объясняется он весь.

У Достоевского было одному ему присущее, небывалое отношение к *человеку* и его судьбе — вот где нужно искать его пафос, вот с чем связана единственность его творческого типа. У Достоевского ничего и нет кроме человека, все раскрывается лишь в нем, все подчинено лишь ему. Еще близкий ему Н. Страхов заметил: «Все внимание его было устремлено на людей, и он схватывал только их природу и характер. Его интересовали люди, исключительно люди, с их душевным складом, с образом их жизни, их чувств и мыслей». В поездке за границу «Достоевского не занимала особенно ни природа, ни исторические памятники, ни произведения искусства». Это подтверждается всем творчеством Достоевского. Такой исключительной поглощенности темой о человеке ни у кого никогда не было. И ни у кого не было такой гениальности в раскрытии тайн человеческой природы. Достоевский, прежде всего, великий *антрополог,* исследователь человеческой природы, ее глубин и ее тайн. Все его творчество — антропологические опыты и эксперименты. Достоевский — не художник-реалист, а экспериментатор, создатель опытной метафизики человеческой природы. Все художество Достоевского есть лишь метод антропологических изысканий и открытий. Он не только ниже Толстого как художник, но он и не может быть назван в строгом смысле этого слова художником. То, что пишет Достоевский, — и не романы, и не трагедии, и никакая форма художественного творчества. Это, конечно, какое-то великое художество, целиком захватывающее, вовлекающее в свой особый мир, действующее магически. Но к этому художеству нельзя подходить с обычными критериями и требованиями. Нет ничего легче, как открыть в романах Достоевского художественные недостатки. В нем нет художественного катарсиса, они мучительны, они всегда переступают пределы искусства. Фабулы романов Достоевского неправдоподобны, лица нереальны, столкновение всех действующих лиц в одном месте и в одно время всегда невозможная натяжка, слишком многое притянуто для целей антропологического эксперимента, все герои говорят одним языком, временами очень вульгарным, некоторые места напоминают уголовные романы невысокого качества. И лишь по недоразумению фабулы этих романов-трагедий могли казаться реалистическими. В этих романах нет ничего эпического, нет изображения быта, нет объективного изображения человеческой и природной жизни. Романы Толстого, самые, быть может, совершенные из всех когда-либо написанных, дают такое ощущение, как будто бы сама космическая жизнь их раскрыла, сама душа мира их написала. У Достоевского нельзя найти таких вырванных из жизни, реальных

людей в плоти и крови. Все герои Достоевского — он сам, различная сторона его собственного духа. Сложная фабула его романов есть раскрытие человека в разных аспектах, с разных сторон. Он открывает и изображает вечные стихии человеческого духа. В глубине человеческой природы он раскрывает Бога и дьявола и бесконечные миры, но всегда раскрывает через человека и из какого-то исступленного интереса к человеку. У Достоевского нет природы, нет космической жизни, нет вещей и предметов, все заслонено человеком и бесконечным человеческим миром, все заключено в человеке. В человеке же действуют исступленные, экстатические, вихревые стихии. Достоевский завлекает, затягивает в какую-то огненную атмосферу. И все делается пресным после того, как побываешь в царстве Достоевского, — он убивает вкус к чтению других писателей. Художество Достоевского совсем особого рода. Он производит свои антропологические исследования через художество, вовлекающее в самую таинственную глубину человеческой природы. В глубину эту всегда вовлекает исступленный, экстатический вихрь. Вихрь этот есть метод антропологических открытий. Все написанное Достоевским и есть вихревая антропология, там открывается все в экстатически-огненной атмосфере. Достоевский открывает новую мистическую науку о человеке. Доступ к этой науке возможен лишь для тех, которые будут вовлечены в вихрь. Это есть путь посвящения в тайноведение Достоевского. В науке этой и в ее методах нет ничего статического, все — динамично, все — в движении, нет ничего застывшего, окаменевшего, остановившегося, это — поток раскаленной лавы. Все страстно, все исступленно в антропологии Достоевского, все выводит за грани и пределы. Достоевскому дано было познать человека в его страстном, буйном, исступленном движении. И нет благообразия в раскрываемых Достоевским человеческих лицах, толстовского благообразия, всегда улавливающего момент статический.

II

В романах Достоевского нет ничего, кроме человека и человеческих отношений. Это должно быть ясно для всякого, кто вчитывался в эти захватывающие дух антропологические трактаты. Все герои Достоевского только и делают, что ходят друг к другу, разговаривают друг с другом, вовлекаются в притягивающую бездну трагических человеческих судеб. Единственное серьезное жизненное дело людей Достоевского есть их взаимоотношения, их страстные притяжения и отталкивания. Никакого другого «дела», никакого другого жизненного строительства в этом огромном и бесконечно разнообразном человеческом царстве найти нельзя. Всегда образуется какой-нибудь человеческий центр,

какая-нибудь центральная человеческая страсть, и все вращается, кружится вокруг этой оси. Образуется вихрь страстных человеческих соотношений, и в этот вихрь вовлекаются все, все в исступлении какомто вертятся. Вихрь страстной, огненной человеческой природы влечет в таинственную, загадочную, бездонную глубину этой природы. Там раскрывает Достоевский человеческую бесконечность, бездонность человеческой природы. Но и в самой глубине, на самом дне, в бездне остается человек, не исчезает его образ и лик. Возьмем любой из романов Достоевского. В каждом из них раскрывается страстное, идущее в неизъяснимую глубь человеческое царство, которым все исчерпывается. В человеке раскрывается бесконечность и бездонность, но ничего нет, кроме человека, ничто не интересно, кроме человеческого. Вот «Подросток», одно из самых гениальных и недостаточно еще оцененных творений Достоевского. Все вращается вокруг образа Версилова, все насыщено страстным к нему отношением, человеческим притяжением и отталкиванием от него. Рассказ ведется от подростка, незаконного сына Версилова. Никто не занимается никаким делом, никто не имеет прочного органического места в бытовом строе жизни, все выбиты из колеи, из путей жизнеустроения, все в истерике и исступлении. И все-таки чувствуется, что все делают какое-то огромное дело, бесконечно серьезное, решают очень важные задачи. Что же это за дела, что это за задачи? О чем хлопочет подросток с утра до вечера, куда спешит, почему не имеет ни минуты передышки и отдыха? В обычном смысле слова подросток — совершенный бездельник, как и отец его Версилов, как и все почти действующие лица в романах Достоевского. И все-таки Достоевский дает чувство того, что делается важное, серьезное, божеское дело. Человек для Достоевского выше всякого дела, он сам и есть дело. Поставлена жизненная загадка о Версилове, о человеке, о его судьбе, о божественном образе в нем. Разрешение этой загадки есть великое дело, величайшее из дел. Подросток хочет раскрыть тайну Версилова. Тайна эта скрыта в глубине человека. Все чувствуют значительность Версилова, все поражены противоречиями его природы, всем бросается в глаза что-то глубоко иррациональное в его характере и в его жизни. Загадка сложного, противоречивого, иррационального характера Версилова с его странной судьбой, загадка необыкновенного человека есть для него загадка о человеке вообще. Вся сложная фабула, сложная интрига романа есть лишь способ раскрытия человека Версилова, открытия о сложной человеческой природе, об антиномических ее страстях. Тайна природы человеческой всего более раскрывается в отношениях мужчины и женщины. И вот о любви удалось Достоевскому открыть что-то небывалое в русской и всемирной литературе, у него была огненная мысль о любви. Любовь

Версилова к Катерине Николаевне вовлекает в стихию такой огненной страсти, какой нигде и никогда не бывало. Эта огненная страсть схоронена под внешним обличием спокойствия. Временами кажется, что Версилов — потухший вулкан. Но тем острее врезывается в нас образ версиловской любви. Достоевский вскрывает противоречие, полярность и антиномичность в самой природе огненной страсти. Самая сильная любовь неосуществима на земле, она безнадежна, безысходно трагична, она рождает смерть и истребление. Достоевский не любит брать человека в устойчивом строе этого мира. Он всегда показывает нам человека в безысходном трагизме, в противоречиях, идущих до самой глубины. Таков высший тип человека, явленный Достоевским.

В «Идиоте», быть может, художественно самом совершенном творении Достоевского, все также исчерпывается миром огненных человеческих отношений. Князь Мышкин приезжает в Петербург и сразу же попадает в раскаленную, экстатическую атмосферу людских отношений, которая его целиком захватывает и в которую он сам вносит свои тихие экстазы, вызывающие бурные вихри. Образ Мышкина — настоящее откровение христианского дионисизма. Мышкин ничего не делает, как и все герои Достоевского, он не занят строительством жизни. Огромная и сердечная жизненная задача, которая предстала перед ним, когда он попал в вихрь человеческих отношений, — это вещее проникновение в судьбу всякого человека, и прежде всего двух женщин Настасии Филипповны и Аглаи. В «Подростке» все заняты одним человеком — Версиловым. В «Идиоте» один человек — Мышкин — занят всеми. И там и здесь исключительная погруженность в разгадывание человеческих судеб. Антиномическая, двоящаяся природа человеческой любви раскрывается в «Идиоте» до самой глубины. Мышкин любит разной любовью и Настасию Филипповну, и Аглаю, и любовь эта не может привести ни к каким осуществлениям. Сразу же чувствуется, что любовь к Настасии Филипповне бесконечно трагична и влечет к гибели. И Достоевский раскрывает тут природу человеческой любви и судьбу ее в этом мире. Это — не частное и случайное повествование, а антропологическое знание, полученное через экстатическое погружение человека в огненную, раскаленную атмосферу, выявляющую глубину. Страстная, огненная связь существует между Мышкиным и Рогожиным. Достоевский понял, что любовь к одной женщине не только разъединяет людей, но и соединяет их, сковывает. По-другому, в других тонах эта связанность, скованность изображена в «Вечном муже», одном из гениальнейших произведений Достоевского. В «Идиоте» очень ясно видно, что Достоевского совершенно не интересовал объективный строй жизни, природной и общественной, не интересовал эпический быт, статика жизненных форм,

достижений и ценности жизнеустроения, семейного, общественного, культурного. Его интересовали лишь гениальные эксперименты над человеческой природой. Все остается у него в глубине, не в том плане, где строится выявленная жизнь, а в совершенно ином измерении.

В «Бесах» все сосредоточено вокруг Ставрогина, как в «Подростке» вокруг Версилова. Определить отношение к Ставрогину, разгадать его характер и его судьбу есть единственное жизненное дело, вокруг которого сосредоточивается действие. Все тянется к нему, как к солнцу, все исходит от него и к нему возвращается, все есть лишь его судьба, его эманация, выделившееся из него беснование. Судьба человека, истощившего свои силы в безмерности своих стремлений, — вот тема «Бесов». То лицо, от которого ведется рассказ, исключительно поглощено миром человеческих страстей и человеческого беснования, круговращающегося вокруг Ставрогина. И в «Бесах» нет никакого достижения ценностей, никакого строительства, нет никакой органически осуществляемой жизни. Все та же загадка о человеке и страстная жажда разгадать ее. Нас вовлекают в огненный поток, и в потоке этом расплавляются и сгорают все застывшие оболочки, все устойчивые формы, все охлажденные и установившиеся бытовые уклады, мешающие откровению о человеке, о его глубине, о его идущих в самую глубь противоречиях. Глубина человека всегда оказывается у Достоевского невыраженной, невыявленной, неосуществленной и неосуществимой до конца. Раскрытие глубины человека всегда влечет к катастрофе, за грани и пределы благообразной жизни этого мира. В «Преступлении и наказании» нет ничего, кроме раскрытия внутренней жизни человека, его экспериментирования над собственной природой и природой человеческой вообще, кроме исследования всех возможностей и невозможностей, заложенных в человеке. Но антропологическое исследование в «Преступлении и наказании» ведется иначе, чем в других романах, в нем нет такой напряженной страстности человеческих отношений, нет такого раскрытия единого человеческого лица через человеческую множественность. Более всех произведений Достоевского «Преступление и наказание» напоминает опыт новой науки о человеке.

«Братья Карамазовы» — самое богатое по содержанию, обильное гениальными мыслями, хотя и не самое совершенное произведение Достоевского. Тут опять проблема о человеке ставится в страстной и напряженной атмосфере человеческой множественности. Алеша — наименее удавшийся из образов Достоевского — видит единственное свое жизненное дело в активных отношениях к братьям Ивану и Дмитрию, к связанным с ними женщинам Грушеньке и Катерине Ивановне, к детворе. И он не занят жизнеустроением. Вовлеченный в вихрь человеческих страстей, он ходит то к одному,

то к другому, пытается разгадать человеческую загадку. Более всего приковывает его загадка брата Ивана. Иван — мировая загадка, проблема человека вообще. И все, что связано у Достоевского с Иваном Карамазовым, есть глубокая метафизика человека. Соучастие Ивана Карамазова в убийстве, совершенном Смердяковым — этой другой его половиной, — угрызения совести Ивана, разговор с чёртом — все это антропологический эксперимент, исследование возможностей и невозможностей человеческой природы, ее с трудом уловимых, тончайших переживаний, внутреннего убийства. По излюбленному приему Достоевского Митя ставится между двумя женщинами, и любовь Мити влечет к гибели. Ничто не может быть осуществлено во внешнем строе жизни, все возможности уходят в бесконечную, неизъяснимую глубину. Осуществленной благообразной жизни Алеши Достоевский так и не показал, да она и не очень нужна была для его антропологических изысканий. Положительное благообразие дается в форме поучений старца Зосимы, которого не случайно Достоевский заставил умереть в самом начале романа. Дальнейшее его существование лишь помешало бы раскрытию всех противоречий и полярностей человеческой природы. Все основные романы Достоевского говорят о том, что интересует его лишь человек и человеческие отношения, что он лишь исследует человеческую природу художественно-экспериментальным методом, им самим открытым, и открывает все противоречия человеческой природы, погружая ее в огненную и экстатическую атмосферу.

III

Достоевский — дионисичен и экстатичен. В нем нет ничего аполлонического, нет умеряющей и вводящей в пределы формы. Он во всем безмерен, он всегда в исступлении, в творчестве его разрываются все грани. И величайшее своеобразие Достоевского нужно видеть в том, что в дионисическом экстазе и исступлении никогда у него не исчезает человек, и в самой глубине экстатического опыта сохраняется образ человека, лик человеческий не растерзан, принцип человеческой индивидуальности остается до самого дна бытия. Человек — не периферия бытия, как у многих мистиков и метафизиков, не преходящее явление, а самая глубина бытия, уходящая в недра божественной жизни. В древнем дионисическом экстазе снимался принцип человеческой индивидуации и совершалось погружение в безликое единство. Экстаз был путем угашения всякого множества в единстве. Дионисическая стихия была внечеловечна и безлична. Не таков Достоевский. Он глубоко отличается от всех тех мистиков, у которых в экстазе исчезает лик человека и все умирает в божественном единстве. Достоевский

в экстазе и исступлениях до конца остается христианином, потому что у него до конца остается человек, его лик. Глубока противоположность его германскому идеалистическому монизму, который всегда представляет собой ересь монофизитскую, отрицание самостоятельности человеческой природы и ее поглощение природой божественной. Достоевский совсем не монист, он до конца признает множественность ликов, плюральность и сложность бытия. Ему свойственно какое-то исступленное чувство человеческой личности и вечной, неистребимой судьбы ее. Человеческая личность никогда у него не умирает в Божестве, в божественном единстве. Он всегда ведет процесс с Богом о судьбе человеческой личности, ничего не хочет уступить в этой судьбе. Он экстатически чувствует и переживает человека, а не только Бога. Он вечно сгорает от жажды человеческого бессмертия. И скорее согласится на страшный кошмар Свидригайлова о вечной жизни в низкой комнате с пауками, чем на исчезновение человека в безликом монизме. Лучше ад для человеческой личности, чем безличное и бесчеловеческое блаженство. Диалектика о слезинке ребенка, из-за которой мир отвергается, хотя и вложена в уста атеиста Ивана Карамазова, все же принадлежит творческому воображению самого Достоевского. Он всегда является адвокатом человека, предстателем за судьбу его.

Как глубоко различие между Достоевским и Толстым! У Толстого тонет человеческий лик в органической стихии. Множественность у него лишь бытовая, лишь в явлениях органического строя жизни. Как художник и как мыслитель, Толстой — монист. Безликость, круглость Платона Каратаева для него высшее достижение. Человек не идет у него в самую глубь, он — лишь явление периферии бытия. Толстого не мучит вопрос о человеке, его мучит лишь вопрос о Боге. Для Достоевского же вопрос о Боге связан с вопросом о человеке. Толстой более теолог, чем Достоевский. Весь Раскольников и весь Иван Карамазов есть мучительный вопрос о человеке, о границах, поставленных человеку. И даже когда Мышкин погружается в тихое безумие, остается уверенность, что лик человеческий не исчезнет в божественном экстазе. Достоевский открывает нам экстазы человека, его вихревые движения, но никогда и нигде человек не проваливается у него в космическую безмерность, как, например, в творчестве А. Белого. Экстаз всегда есть лишь движение в глубь человека. Исключительный интерес Достоевского к преступлению был чисто антропологическим интересом. Это — интерес к пределам и окраинам человеческой природы. Но и в преступлении, которое у Достоевского всегда есть исступление, человек не погибает и не исчезает, а утверждается и возрождается.

Необходимо подчеркнуть еще одну особенность Достоевского. Он необыкновенно, дьявольски умен, острота его мысли необычайна,

диалектика его страшно сильна. Достоевский — великий мыслитель в своем художественном творчестве, он прежде всего художник мысли. Из великих художников мира по силе ума с ним может быть отчасти сопоставлен лишь один Шекспир, тоже великий исследователь человеческой природы. Творения Шекспира полны пронизывающей остроты ума — ума Возрождения. Бездна ума, иного, но еще более необъятного и пронизывающего, открывается у Достоевского. Одни «Записки из подполья» и «Легенда о Великом инквизиторе» представляют необъятные умственные богатства. Он был даже слишком умен для художника, ум его мешал достижению художественного катарсиса. И вот что нужно отметить, что дионисичность и экстатичность Достоевского не угашали его ума и мысли, как это часто случается, не топили остроты ума и мысли в безумном, божественном опьянении. Мистик Достоевский, враг и изобличитель рационализма и интеллектуализма, обожал мысль, был влюблен в диалектику. Достоевский представляет необычайное явление оргийности, экстатичности самой мысли, он опьянен силой своего ума. Мысль его всегда вихревая, оргийно-исступленная, но от этого она не теряет в силе и остроте. На примере своего творчества Достоевский показал, что преодоление рационализма и раскрытие иррациональности жизни не есть непременно умаление ума, что сама острота ума способствует раскрытию иррациональности. Эта оригинальная особенность Достоевского связана с тем, что у него человек раскрывается до конца, никогда не растворяется в безликом единстве. Поэтому он остро знает противоположности. В монизме германского типа есть глубина, но нет остроты, пронзительности мысли, даруемой знанием противоположностей, все тонет в единстве. Гёте был необъятно гениален, но не приходит в голову сказать про него, что он был необъятно умен, в уме его не было остроты, не было пронизывающего проникновения в противоположности. Достоевский всегда мыслил противоположностями и этим обострял свою мысль. Монофизитство притупляет остроту мысли. Достоевский же всегда видел в глубине не только Бога, но и человека, не только единое, но и множественное, не только одно, но и противоположное ему. Острота его мысли есть полярность мысли. Достоевский великий, величайший мыслитель прежде всего в своем художественном творчестве, в своих романах. В публицистических статьях сила и острота его мысли ослаблена и притуплена. В его славянофильско-почвенной и православной идеологии сняты те противоположности и полярности, которые открывались его гениально-острому уму. Он был посредственным публицистом, и когда он начинал проповедовать, уровень его мысли понижался, идеи его упрощались. Даже прославленная его речь о Пушкине очень преувеличена. Мысли этой речи и мысли

«Дневника писателя» слабы и бесцветны по сравнению с мыслями Ивана Карамазова, Версилова или Кириллова, с мыслями «Легенды о Великом инквизиторе» или «Записок из подполья».

Много раз уже отмечали, что Достоевский как художник мучителен, что нет у него художественного очищения и исхода. Выхода искали в положительных идеях и верованиях Достоевского, раскрытых частью в «Братьях Карамазовых», частью в «Дневнике писателя». Это — ложное отношение к Достоевскому. Он мучит, но никогда не оставляет во тьме, в безвыходности. У него всегда есть экстатический выход. Он влечет своим вихрем за все грани, разрывает грани всякой темноты. Тот экстаз, который испытывается при чтении Достоевского, уже сам по себе есть выход. Выхода этого нужно искать не в доктринах и идеологических построениях Достоевского-проповедника и публициста, не в «Дневнике писателя», а в его романах-трагедиях, в том художественном гнозисе, который в них раскрывается. Ошибочно было бы платформировать на не вполне удавшемся образе Алеши, как светлом выходе из тьмы Ивана и Дмитрия и раньше накопившейся тьмы Раскольникова, Ставрогина, Версилова. Это было бы доктринерское отношение к творчеству Достоевского. Выход есть без проповедей и нравоучений, в великом озарении экстатического знания, в самом погружении в огненную человеческую стихию. Достоевский беден в теологии, но богат лишь в антропологии. Бога раскрывает он лишь в своих антропологических исследованиях. Глубоко поставлен у Достоевского лишь вопрос о человеке. Вопрос об обществе и государстве у него ставится не очень оригинально. Его проповедь теократии почти банальна. Не в ней нужно искать его силы. Выше всего и первее всего для Достоевского — душа человеческая, она стоит больше всех царств и всех миров, всей мировой истории, всего прославленного прогресса. В процессе Мити Карамазова Достоевский раскрыл несоизмеримость холодной, объективной, нечеловеческой государственности с душой человеческой, неспособность государственности проникнуть в правду души. Но природу государства он понимал плохо. Достоевского считают криминалистом по темам и интересам. Он больше всех сделал для раскрытия психологии преступления. Но это лишь метод, которым он ведет свое исследование над иррациональностью человеческой природы и несоизмеримостью ее ни с каким строем жизни, ни с какой рациональной государственностью, ни с какими задачами истории и прогресса. Достоевский — огненная религиозная натура и самый христианский из писателей. Но христианин он прежде всего и больше всего в своих художественных откровениях о человеке, а не в проповедях и не в доктринах.

IV

Достоевский сделал великое антропологическое открытие, и в этом нужно прежде всего видеть его художественное, философское и религиозное значение. Что же это за открытие? Все художники изображали человека, и много было среди них психологов. Каким тонким психологом был, например, Стендаль. Шекспир раскрыл многообразный и богатый человеческий мир. В творчестве Шекспира открылась шипучая игра человеческих сил, выпущенных на свободу в эпоху Возрождения. Но открытия Достоевского не могут быть сопоставлены ни с кем и ни с чем. И постановка темы о человеке и способы разрешения ее у него совершенно исключительны и единственны. Он интересовался вечной сущностью человеческой природы, ее скрытой глубиной, до которой никто еще не добирался. И не статика этой глубины интересовала его, а ее динамика, ее как бы в самой вечности совершающееся движение. Это движение совершенно внутреннее, не подчиненное внешней эволюции в истории. Достоевский раскрывает не феноменальную, а онтологическую динамику. В самой последней глубине человека, в бытийственной бездне — не покой, а движение. Всем видима игра человеческих страстей в явлениях человеческой психики, на периферии бытия. Но Достоевский открыл трагическое противоречие и трагическое движение в самом последнем пласте бытия человека, где оно погружено уже в неизъяснимое божественное бытие, не исчезая в нем. Слишком известны слова Мити Карамазова: «Красота — это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеалы Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные, беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил». Все герои Достоевского — он сам, одна из сторон его бесконечно богатого и бесконечно сложного духа, и он всегда влагает в уста своих героев свои собственные гениальные мысли. И вот оказывается, что красота — высочайший образ онтологического совершенства, о которой в другом месте говорится, что она должна мир спасти, — представлялась Достоевскому противоречивой, двоящейся, страшной, ужасной. Он не созерцает божественный покой, красоты, ее платоновскую идею, он видит до самого конца, до последней глубины ее огненное, вихревое движение, ее полярность. Красота раскрывается ему лишь через человека, через широкую, слишком широкую, таин-

ственную, противоречивую, вечно движущуюся природу человека. Он не созерцает красоты в космосе, в божественном миропорядке. Отсюда — вечное беспокойство. «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей». Различие между «божеским» и «дьявольским» не совпадает у Достоевского с обычным различием между «добром» и «злом». В этом — тайна антропологии Достоевского. Различие между добром и злом периферично. Огненная же полярность идет до самой глубины бытия, она присуща самому высшему — красоте. Если бы Достоевский раскрыл свое учение о Боге, то он должен был бы признать двойственность в самой божественной природе, яростное и темное начало в самой глубине божественной природы. Он приоткрывает эту истину через свою гениальную антропологию. Достоевский был антиплатоником.

И Ставрогин говорит о равной притягательности двух противоположных полюсов, идеала Мадонского и идеала содомского. Это не есть просто борьба добра со злом в человеческом сердце. В том-то и дело, что для Достоевского человеческое сердце в самой первооснове своей — полярно, и эта полярность порождает огненное движение, не допускает покоя. Покой, единство в человеческом сердце, в человеческой душе видят не те, которые заглянули в самую глубину, как Достоевский, а те, которые боятся заглянуть в бездну и остаются на поверхности. У Достоевского было до глубины антиномическое отношение к злу. Он всегда хотел познать тайну зла, в этом он был гностиком, он не отодвигал зла в сферу непознаваемого, не выбрасывал его вовне. Зло было для него злом, зло горело у него в адском огне, он страстно стремился к победе над злом. Но он хотел что-то сделать со злом, претворить его в благородный металл, в высшее божественное бытие и этим спасти зло, т.е. подлинно его победить, а не оставить во внешней тьме. Это — глубоко мистический мотив в Достоевском, откровение его великого сердца, его огненной любви к человеку и Христу. Отпадение, раздвоение, отщепенство никогда не являлось для Достоевского просто грехом, это для него также путь. Он не читает морали над жизненной трагедией Раскольникова, Ставрогина, Кириллова, Версилова, Дмитрия и Ивана Карамазова, не противопоставляет им элементарных истин катехизиса. Зло должно быть преодолено и побеждено, но оно дает обогащающий опыт, в раздвоении многое открывается, оно обогащает, дает знание. Зло также и путь человека. И всякий, кто прошел через Достоевского и пережил его, познал тайну раздвоения, получил знание противоположностей, вооружился в борьбе со злом новым могущественным оружием — знанием зла, получил возможность преодолеть его изнутри, а не внешне лишь бежать от него и отбрасывать его, оставаясь бессильным над его темной стихией. Человек совершает путь свой через развитие героев Достоевского

и достигает зрелости, внутренней свободы в отношении ко злу. Но есть у Достоевского выделение двойников, обратных подобий в призрачном бытии, отбросов путей развития. Эти существа не имеют самостоятельного существования, они живут призрачной жизнью. Таковы Свидригайлов, Петр Верховенский, вечный муж, Смердяков. Это — солома, их не существует. Существа эти влачат вампирическое существование.

V

Первые свои открытия о человеческой природе, и очень существенные, Достоевский делает в «Записках из подполья», и завершает он эти свои открытия в «Легенде о Великом инквизиторе». Прежде всего он в корне отрицает, что человек по природе своей стремится к выгоде, к счастью, к удовлетворению, что природа человеческая рациональна. В человеке заложена потребность в произволе, в свободе превыше всякого блага, свободе безмерной. Человек — существо иррациональное. «Я нисколько не удивлюсь, говорит герой "Записок из подполья", — если вдруг ни с того ни с сего, среди всеобщего будущего благоразумия возникнет какой-нибудь джентльмен, с неблагородной или, лучше сказать, с ретроградной и насмешливой физиономией, упрет руки в боки и скажет нам всем: а что, господа, не столкнуть ли нам все это благоразумие с одного разу, ногой, прахом, единственно с тою целью, чтобы все эти логарифмы отправить к чёрту, и *чтоб нам опять по своей глупой воле пожить!* (курсив мой. — *Н. Б.*). Это бы еще ничего, но обидно то, что ведь непременно последователей найдет; так человек устроен. И все это от самой пустейшей причины, о которой бы, кажется, и упоминать не стоит: именно от того, что человек, всегда и везде, кто бы он ни был, любил действовать так, как хотел, а вовсе не так, как повелевали ему разум и выгода; хотеть же можно и против собственной выгоды, а иногда и положительно должно. Свое собственное, вольное и свободное хотение, свой собственный, хотя бы самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная иногда хотя бы даже до сумасшествия, — вот это-то все и есть та самая, пропущенная, самая выгодная выгода, которая ни под какую классификацию не подходит и от которой все системы и теории постоянно разлетаются к чёрту. И с чего это взяли все эти мудрецы, что человеку надо какого-то нормального, какого-то добровольного хотения? С чего это непременно вообразили они, что человеку надо непременно благоразумно-выгодного хотения? Человеку надо одного только *самостоятельного* хотения, чего бы эта самостоятельность ни стоила и к чему бы ни привела». В этих словах дана уже в зачаточном виде та гениальная диалектика о человеке, которая дальше развивается через судьбу всех героев Достоевского и в положительной форме завершается в «Легенде

о Великом инквизиторе». «Есть один только случай, только один, когда человек может нарочно, сознательно пожелать себе даже вредного, глупого, даже глупейшего, а именно: чтобы *иметь право* пожелать себе даже и глупейшего и не быть связанным обязанностью желать себе одного только умного. Ведь это глупейшее, ведь этот свой каприз и в самом деле, господа, может быть всего выгоднее для нашего брата из всего, что есть на земле, особенно в иных случаях. А в частности может быть выгоднее всех выгод, даже и в том случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах, потому что во всяком случае *сохраняет нам самое главное и самое дорогое, т.е. нашу личность и нашу индивидуальность*» (курсив мой. — *Н. Б.*). Человек — не арифметика, человек — существо проблематическое и загадочное. Природа человеческая полярна и антиномична до самого конца. «Чего же можно ожидать от человека как от существа, одаренного такими странными качествами?» Достоевский наносит удар за ударом всем теориям и утопиям человеческого благополучия, человеческого земного блаженства, окончательного устроения и гармонии. «Человек пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши». «Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что *ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик*» (курсив мой. — *Н. Б.*). Достоевский раскрывает несоизмеримость свободной, противоречивой и иррациональной человеческой природы с рационалистическим гуманизмом, с рационалистической теорией прогресса, с до конца рационализированным социальным устроением, со всеми утопиями о хрустальных дворцах. Все это представляется ему унизительным для человека, для человеческого достоинства. «Какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!» «Не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание?.. И, кто знает, может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и за-

ключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, т.е. формула, а ведь *дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти*» (курсив мой — *Н. Б.*). Арифметика не применима к человеческой природе. Тут нужна высшая математика. В человеке, глубоко взятом, есть потребность в страдании, есть презрение к благополучию. «И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, — только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он равно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему равно настолько же выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти... Я уверен, что человек от настоящего страдания, т.е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, да ведь это единственная причина сознания». В этих изумительных по остроте мыслях героя из подполья Достоевский полагает основание своей новой антропологии, которая раскрывается в судьбе Раскольникова, Ставрогина, Мышкина, Версилова, Ивана и Дмитрия Карамазова. Л. Шестов указал на огромное значение «Записок из подполья», но он подошел к этому произведению исключительно со стороны подпольной психологии и дал одностороннее истолкование Достоевского.

VI

Нужно считать установленным, что творчество Достоевского распадается на два периода — до «Записок из подполья» и после «Записок из подполья». Между этими двумя периодами с Достоевским произошел духовный переворот, после которого ему открылось что-то новое о человеке. После этого только и начинается настоящий Достоевский, автор «Преступления и наказания», «Идиота», «Бесов», «Подростка», «Братьев Карамазовых». В первый период, когда Достоевский писал «Бедные люди», «Записки из Мертвого дома», «Униженные и оскорбленные», он был еще гуманистом — прекраснодушным, наивным, несвободным от сантиментальности гуманистом. Он находился еще под влиянием идей Белинского, и в творчестве его чувствовалось влияние Жорж Занд, В. Гюго, Диккенса. И тогда уже обнаружились особенности Достоевского, но он еще не стал вполне самим собой. В этот период он был еще «Шиллер». Этим именем любил он впоследствии называть прекрасные души, поклонников всего «высокого и прекрасного». Тогда уже пафосом Достоевского было сострадание к человеку, ко всем униженным и оскорбленным. Начиная с «Записок

из подполья», чувствуется человек, познавший добро и зло, прошедший через раздвоение. Он делается врагом старого гуманизма, изобличителем гуманистических утопий и иллюзий. В нем соединяются полярности страстного человеколюбия и человеконенавистничества, огненного сострадания к человеку и жестокости. Он унаследовал гуманизм русской литературы, русское сострадание ко всем обойденным, обиженным и падшим, русское чувство ценности человеческой души. Но он преодолел наивные, элементарные основы старого гуманизма, и ему открылся совершенно новый, трагический гуманизм. В этом отношении Достоевский может быть сопоставлен лишь с Ницше, в котором кончился старый европейский гуманизм и по-новому была поставлена трагическая проблема о человеке. Много раз уже указывали на то, что Достоевский предвидел идеи Ницше. Оба они глашатаи нового откровения о человеке, оба прежде всего великие антропологи, у обоих антропология апокалиптична, подходит к краям, пределам и концам. И то, что говорит Достоевский о человеке и Ницше о сверхчеловеке, есть апокалиптическая мысль о человеке. Так ставится проблема человека Кирилловым. Образ Кириллова в «Бесах» есть самая кристальная, почти ангельски чистая идея освобождения человека от власти всякого страха и достижения состояния божественного. «Кто победит боль и страх, тот сам станет Бог. Тогда новая жизнь, тогда новый человек, тогда все новое». «Будет Богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли и все чувства». «Всякий, кто хочет главной свободы, тот должен сметь убить себя... Кто смеет убить себя, тот Бог». В другом разговоре Кириллов говорит: «Он придет, и имя ему будет человекобог». «Богочеловек?» — переспрашивает Ставрогин. «Человекобог, в этом разница». Этим противоположением потом очень злоупотребляли в русской религиозно-философской мысли. Идея человекобога, явленная Кирилловым в ее чистой духовности, есть момент в гениальной диалектике Достоевского о человеке и его пути. Богочеловек и человекобог — полярности человеческой природы. Это — два пути — от Бога к человеку и от человека к Богу. У Достоевского не было бесповоротно отрицательного отношения к Кириллову как к выразителю антихристова начала. Путь Кириллова — путь героического духа, побеждающего всякий страх, устремленного к горней свободе. Но Кириллов есть одно из начал человеческой природы, само по себе недостаточное, один из полюсов духа. Исключительное торжество этого начала ведет к гибели. Но Кириллов у Достоевского есть неизбежный момент в откровении о человеке. Он необходим для антропологического исследования Достоевского. У Достоевского совсем не было желания прочесть мораль о том, как плохо стремиться к человекобожеству. У него всегда

дана имманентная диалектика. Кириллов антропологический эксперимент в чистом горном воздухе.

Тем же методом имманентной диалектики раскрывает Достоевский божественные основы человека, образ Божий в человеке, в силу чего не «все дозволено». Эта тема о том, все ли дозволено, т.е. каковы границы и возможности человеческой природы, упорно интересовала Достоевского, и он вечно к ней возвращается. Это — тема Раскольникова и Ивана Карамазова. Ни Раскольников, человек мысли и действий, ни Иван Карамазов, исключительно человек мысли, не могли переступить границу, они всей трагедией своей жизни отвергают, что все дозволено. Но почему же не дозволено? Можно ли сказать, что они испугались стоящего над ними закона, нормы? Можно ли сказать, что они испугались, почувствовали себя обыкновенными людьми? Антропологическая диалектика Достоевского ведется иначе. Из бесконечной ценности всякой человеческой души, хотя бы самой последней, всякой человеческой личности выводит он, что не все позволено, не позволено попирание человеческого лица, обращение его в простое средство. Сужение объема возможностей вытекает у него из бесконечного расширения объема возможностей всякой человеческой души. Преступное посягательство на человека есть посягательство на бесконечность, на бесконечные возможности. Достоевский всегда утверждает бесконечную, божественную ценность человеческой души, человеческой личности против всяких посягательств, одинаково как против преступления, так и против теории прогресса. Это — какое-то исступленное чувство личности и личной судьбы. Принято думать, что Достоевского всю жизнь более всего мучил вопрос о бессмертии души. Но вопрос о бессмертии и был для него вопросом о природе человека и о человеческой судьбе. Это интерес антропологический. Не только вопрос о бессмертии, но и вопрос о Боге подчинен у Достоевского вопросу о человеке и его вечной судьбе. Бог у него раскрывается в глубине человека и через человека. Бог и бессмертие раскрываются через любовь людей, отношение человека к человеку. Но сам человек страшно повышен у него в ранге, вознесен на небывалую высоту. Слезинка ребенка, плач дитё — все это вопрос о человеческой судьбе, поставленный любовью. Из-за судьбы человека в этом мире готов был Достоевский не принять мира Божьего. Вся диалектика Ивана Карамазова, как и других его героев, — его собственная диалектика. Но у самого Достоевского все сложнее и богаче, чем у его героев, он знает больше их. Главное у Достоевского нужно искать не в смирении («смирись, гордый человек»), не в сознании греха, а в тайне человека, в свободе. У Л. Толстого человек подзаконен. У Достоевского человек — в благодати, в свободе.

VII

Вершины своего сознания Достоевский достигает в «Легенде о Великом инквизиторе». Тут завершаются его антропологические откровения, и проблема человека ставится в новом религиозном свете. В «Записках из подполья» человек был признан существом иррациональным, проблематическим, полным противоречий, наделенным жаждой произвола и потребностью в страдании. Но там это была лишь усложненная и утонченная психология. Не было дано еще религиозной антропологии. Она раскрылась лишь в легенде, рассказанной Иваном Карамазовым. Она стала возможной лишь после длинного и трагического пути, пройденного человеком в «Преступлении и наказании», «Идиоте», «Бесах», «Подростке». И очень знаменательно, что величайшие свои откровения Достоевский поведал через Ивана Карамазова, он облек их не в форму идеологической проповеди, а в прикровенную форму «фантазии», в которой что-то последнее просвечивает, но остается прикровенным. До конца остается что-то двоящееся, допускающее противоположные истолкования, для многих почти двусмысленное. И все же прав Алеша, когда он восклицает Ивану: «Поэма твоя есть хвала Иисусу». Да, величайшая хвала, которая когда-либо была произнесена на человеческом языке. Католическая обстановка и обличье поэмы не существенны. И можно совершенно отрешиться от полемики против католичества. В поэме этой Достоевский вплотную сдвигает свою тайну о человеке с тайной о Христе. Человеку дороже всего его свобода, и свобода человека дороже всего Христу. Великий инквизитор говорит: «Свобода их веры Тебе была дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда говорил: “Хочу сделать вас свободными”...» Великий инквизитор хочет сделать людей счастливыми, устроенными и успокоенными, он выступает носителем вечного начала человеческого благополучия и устроения. Он ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они побороли свободу, и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми... Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? И Великий инквизитор говорит с укором Тому, кто явился носителем бесконечной свободы человеческого духа: «Ты отверг единственный путь, которым можно было сделать людей счастливыми». «Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, ибо ничего и никогда не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы!» Великий инквизитор принимает первое искушение в пустыне — иску-

шение хлебами, и на нем хочет основать счастье людей. «Свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе не мыслимы». Люди «убедятся, что не могут быть никогда и свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагородного людского племени с земным?» И Великий инквизитор обвиняет Христа в аристократизме, в пренебрежении «миллионами, многочисленными, как песок морской, слабыми». Он восклицает: «Или тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных?» «Нет, нам дороги и слабые». Христос отверг первое искушение «во имя свободы, которую поставил выше всего». «Вместо того чтобы овладеть свободой людей, Ты увеличил им ее еще больше!.. Ты взял все, что есть необычайного, гадательного и неопределенного, взял все, что было не по силам людей, а потому поступил как бы и не любя их вовсе... Вместо того чтоб овладеть человеческой свободой, Ты умножил ее и обременил ее мучениями душевное царство человека вовеки. Ты возжелал свободной любви человека, чтобы свободно пошел он за Тобою, прельщенный и плененный Тобою. Вместо твердого древнего закона, свободным сердцем должен был человек решать впредь сам, что добро и что зло, имея лишь в руководстве Твой образ пред собою». «Ты не сошел с креста потому, что опять-таки не захотел поработить человека чудом, и жаждал свободной веры, а не чудесной. Жаждал свободной любви, а не рабских восторгов невольника пред могуществом, раз навсегда его ужаснувшим. Но и тут Ты судил о людях слишком высоко, ибо, конечно, они невольники». «Столь уважая человека. Ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал... Уважая его менее, менее бы от него и потребовал, а это было бы ближе к любви, ибо легче была бы ноша его». «Ты можешь с гордостью указать на этих детей свободы, свободной любви, свободной и великолепной жертвы их во имя Твое. Но вспомни, что их было всего только несколько тысяч, да и то богов, а остальные? И чем виноваты остальные слабые люди, что не могли вытерпеть того, что могучие? Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров? Да неужто же и впрямь приходил Ты лишь к избранным и для избранных?» И Великий инквизитор восклицает: «Мы не с Тобой, а с *ним,* вот наша тайна!» И он рисует картину счастья и успокоения миллионов слабых существ, лишенных свободы. И он говорит в конце: «Я ушел от гордых и воротился к смертным для счастья этих смертных». В свое оправдание он указывает «на тысячи миллионов счастливых младенцев».

В этой гениальной метафизической поэме, быть может величайшей из всего написанного людьми, Достоевский раскрывает борьбу двух мировых начал — Христова и антихристова, свободы и принуждения. Говорит

все время Великий инквизитор, враг свободы, презирающий человека, желающий осчастливить через принуждение. Но в этой отрицательной форме Достоевский раскрывает свое положительное учение о человеке, о его бесконечном достоинстве, о его бесконечной свободе. То, что в отрицательной форме было приоткрыто в «Записках из подполья», то в положительной форме открывается в этой поэме. Это — поэма о гордой, горней свободе человека, о бесконечно высоком его призвании, о бесконечных силах, заложенных в человеке. В поэму эту вложено совершенно исключительное чувство Христа. Поражает сходство духа Христова с духом Заратустры. Антихристово начало это — не Кириллов с его стремлением к человекобожеству, а Великий инквизитор с его стремлением лишить людей свободы во имя счастья. Антихрист у Вл. Соловьева имеет черты, родственные с Великим инквизитором. Дух Христов дорожит свободой больше счастья, дух Антихристов дорожит счастьем больше свободы. Высшее, богоподобное достоинство человека требует права на произвол и на страдание. Человек существо трагическое, и в этом знак его принадлежности не только этому, но и иному миру. Для трагического существа, заключающего в себе бесконечность, окончательное устроение, покой и счастье на земле возможны лишь путем отречения от свободы, от образа Божьего в себе. Мысли подпольного человека претворились в новые христианские откровения, они прошли через очистительный огонь всех трагедий Достоевского. «Легенда о Великом инквизиторе» есть откровение о человеке, поставленное в интимную связь с откровением о Христе. Это — аристократическая антропология. Антихрист может принимать разные, самые противоположные обличья, от самого католического до самого социалистического, от самого цезаристского до самого демократического. Но антихристово начало всегда есть вражда к человеку, истребление достоинства человека. Тот ослепительный обратный свет, который падает от демонических слов Великого инквизитора, заключает в себе большее религиозное откровение и откровение христианское, чем поучения Заратустры, чем образ Алеши. Здесь нужно искать ключ к великим антропологическим откровениям Достоевского, к его положительной религиозной идее о человеке.

VIII

«Почвенная» идеология самого Достоевского, которую он развивал в своей публицистике, его религиозное народничество находится в противоречии с его собственным откровением о человеке. В романах его скрывалась иная гениальная идеология, глубокая метафизика жизни и метафизика человека. Достоевский был народник, но он никогда не изображал народа. Исключение составляли «Записки из Мертвого

дома», но и там взят мир преступников, а не народ в его обыденной, бытовой жизни. Статика народной, крестьянской жизни, ее быт не интересовали его. Он — писатель города, городского интеллигентного слоя или слоя мелких чиновников и мещан. В жизни города, преимущественно Петербурга, и в душе горожанина, оторвавшегося от народной почвы, открывал он исключительную динамику, обнаруживал окраины человеческой природы. В вихревом движении, на окраинах находятся и все эти капитаны Лебядкины, Снегиревы и пр. Его не интересовали люди крепкого почвенного уклада, люди земли, бытовики, верные почвенным, бытовым традициям. Он всегда брал человеческую природу расплавленной в огненной атмосфере. И не интересна, не нужна ему была человеческая природа, охлажденная, статически застывшая. Он интересовался лишь отщепенцами, он любил русского скитальца. Он раскрыл в русской душе источник вечного движения, странствования, искания Нового Града. По Достоевскому для русской души характерна не почвенность, не плавание в крепких берегах, а перелив души за все грани и пределы. Достоевский показал образ русского человека в беспредельности. Почвенное же существование есть существование в пределе.

Творчество Достоевского полно не только откровений о человеческой природе вообще, но и особых откровений о природе русского человека, о русской душе. В этом никто не может с ним сравниться. Он проник в глубочайшую метафизику русского духа. Достоевский раскрыл полярность русского духа как глубочайшую его особенность. Как отличается в этом русский дух от монизма духа германского! Когда германец погружается в глубину своего духа, он в глубине находит божественность, все полярности и противоречия снимаются. И потому это так, что для германца в глубине снимается человек, человек существует лишь на периферии, лишь в явлении, а не в сущности. Русский человек более противоречив и антиномичен, чем западный, в нем соединяется душа Азии и душа Европы, Восток и Запад. Это раскрывает великие возможности для русского человека. Человек был менее раскрыт и менее активен в России, чем на Западе, но он сложнее и богаче в своей глубине, во внутренней своей жизни. Природа человека, человеческой души должна более всего раскрыться в России. В России возможна новая религиозная антропология. Отщепенство, скитальчество и странничество русские черты. Западный человек почвеннее, он более верен традициям и более подчинен нормам. Широк русский человек. Ширь, необъятность, безграничность — не только материальное свойство русской природы, но и ее метафизическое, духовное свойство, ее внутреннее измерение. Достоевский раскрыл жуткую, огненно-страстную русскую стихию, которая была скрыта от Толстого и от писателей-народников. Он художественно раскрыл в культурном,

интеллигентном слое ту же жуткую, сладострастную стихию, в народном нашем слое выразившуюся в хлыстовстве. Эта оргийно-экстатическая стихия жила в самом Достоевском, и он был до глубины русским в этой стихии. Он исследовал метафизическую истерию русского духа. Истерия эта есть неоформленность русского духа, неподчиненность пределу и норме. Достоевский открыл, что русский человек всегда нуждается в пощаде и сам щадит. В строе западной жизни есть беспощадность, связанная с подчиненностью человека дисциплине и норме. И русский человек человечнее западного человека. С тем, что раскрыл Достоевский о природе русского человека, связаны и величайшие возможности, и величайшие опасности. Дух все еще не овладел душевной стихией в русском человеке. В России человеческая природа менее активна, чем на Западе, но в России заложены большие человеческие богатства, большие человеческие возможности, чем в размеренной и ограниченной Европе. И русскую идею видел Достоевский во «всечеловечности» русского человека, в его бесконечной шири и бесконечных возможностях. Достоевский весь состоит из противоречий, как и душа России. Выход, который чувствуется при чтении Достоевского, есть выход гностических откровений о человеке. Он создал небывалый тип художественно-гностической антропологии, свой метод вовлечения в глубь человеческого духа через экстатический вихрь. Но экстатические вихри Достоевского духовны и потому никогда не распыляют они образ человека. Один Достоевский не боялся, что в экстазе и беспредельности исчезнет человек. Пределы и формы человеческой личности всегда связывали с аполлонизмом. У одного Достоевского форма человека, его вечный образ остается и в духовном дионисизме. Даже преступление не уничтожает у него человека. И не страшна у него смерть, ибо вечность всегда у него раскрывается в человеке. Он художник не той безликой бездны, в которой нет образа человека, а бездны человеческой, человеческой бездонности. В этом он величайший в мире писатель, мировой гений, каких было всего несколько в истории, величайший ум. Этот великий ум весь был в действенно-активном отношении к человеку, он раскрывал иные миры через человека. Достоевский таков, какова Россия, со всей ее тьмой и светом. И он — самый большой вклад России в духовную жизнь всего мира. Достоевский — самый христианский писатель потому, что в центре у него стоит человек, человеческая любовь и откровения человеческой души. Он весь — откровение сердца бытия человеческого, сердца Иисусова.